о. Николай (ТОЛСТИКОВ)

г. Вологда

РАССКАЗЫ СТАРОГО БАТЮШКИ

УГОЛЁК

1

Священник отец Сергий молод, белозуб, с пышной шапкой русых кудрей на голове, высок и строен, с лица с пробивающейся на скулах бородкой – просящий взгляд добрых, с лукавинкой глаз:

– Отец, ну поехали! Тряхни стариной!

В ответ я молчу, раздумываю. Далековато собрались: тот храм где-то в глухих лесах под Тотьмой. Местные остряки утверждают, что будто даже Пётр Первый, когда в Архангельск нашими краями проезжал, от того места открестился: ни за что не приверну, то – тьма!

– Да там же не по одну Пасху кряду не служили, батюшки нет!

Отец Сергий знает, как вдохновить, – от службы Богу я не бегал.

– А вот и карета подана!

В ворота ограды нашего городского храма неторопливо и солидно вкатился иноземный джип. Из-за руля его легко выскользнул кучерявый смуглый парнишка в спортивном костюме. Обежав капот, он распахнул дверцу перед спутницей – дородной девахой, пестро одетой, коротко остриженной грудастой блондинкой.

Матушка отца Сергия Елена, скромная неприметная толстушечка, радостно с ней облобызалась, как со старой знакомой.

– Кто такие? – потихоньку интересуюсь у отца Сергия после того, как молодец, неумело сложив ковшиком ладошки, принял благословение батюшки и отошел обратно к своей «пассии».

Алик и Анжела. «Новые русские», вернее – дети «новых русских». У Алика папаша – владелец ликёро-водочного завода, сын ему полноправный компаньон. Присмотрелся я получше: это только с виду Алик – парнишечка, худенький и шустрый, но возле его внимательных умных глаз уже морщинки основательно проклюнулись. Отцу Сергию наверняка ровесник – под тридцатник.

Голос у супружницы Алика напористый, как пулемётная очередь, четко и правильно произносящий слова – где-то я его слышал прежде, и довольно часто. Выяснилось: на областном радио Анжела работала диктором и ведущей попу-

лярных передач. Вот откуда так бойка на язык – слова со стороны в её речь не втиснешь. Но это в прошлом, до знакомства с Аликом, теперь она только верная жена и в доме – понятно, не в хибарке – полная хозяйка. Алик влюблён в неё совсем по-мальчишечьи: каждое мало-мальское желание норовит предугадать и тут же выполнить, и всё-то надо ему приласкаться к ней, поцеловать украдкой или на ушко приятное шепнуть. А обожжётся Алик об чей-то посторонний взгляд – и уши, ровно маки, запунцовеют.

Не укрылось: когда садились в машину, глянули молодые друг дружке в глаза виновато-тревожно, потаенная в их взорах то ли грусть, то ли боль просквозила.

«Смилостивится Господь. Образуется у вас всё. Помолимся... За тем и едем, – шепнула матушка Елена Анжеле и, успокаивая, погладила её по руке.

Знать, по делу собрались, не просто так с жиру бесятся.

Отец Сергий размашистым крестом осенил салон джипа, спели тропарь святителю Николаю Мир Ликийских чудотворцу, покровителю всех путешествующих, и – с Богом!

Пасха Христова в этом году ранняя была. В городе солнышко на улицах асфальт просушило, грязь под заборы загнало, но стоило нам выехать за окраину, и убедились сразу: не торопится зима угорбатиться восвояси. Чем дальше на север, тем реже по полям мелькают пригорки с робко пробивающейся на их хребтинах молодой травкой; в низинах, оврагах, буераках еще таятся ноздреватые блекло-сиреневые пластушины снега. А когда почти вплотную подступает к дороге сумрачный лес, не по себе становится – упаси Боже сунуться туда, за крайние сосны и ели, в сугробах еще только так закупаешься!

По ровной «шоссейке» меня укачало, сморило; я вытряхнулся из полусна, вздрогнув от дикторского безоговорочно-требовательного голоса Анжелы:

– Алику пора отдохнуть и поразмяться!

Алик, повернувшись к нам от баранки руля, виновато улыбался: мол, мог бы мчаться без передышки и дальше, да вот...

Место для отдыха его супружница выбрала по наитию или случайно. Из низины лента дороги взметнулась на вершину высокого холма, солнце поднялось к полудню, обогрело застывшую за ночь землю – и такая даль открылась кругом, дух захватило! Но словно мрачная тень облака на солнышко набежала – немного в стороне от дороги краснели пятнами выщербленного кирпича руины храма. Ни куполов с крестами, ни колокольни – один растрескавшийся остов с чёрными провалами окон и белыми стволиками молоденьких берёзок с просыпающимися почками в расселинах кирпичной кладки. Сразу от храма – заполоненная прошлогодним сухим бурьяном улица обезлюдевшей деревеньки с парой-тройкой полуразвалившихся домов.

Кружит незримо печальный ангел над местом сим, ибо над каждым храмом, пусть даже от него людская злоба, дурость или безверие не оставили и следа, всё равно расправляет он свои крыла...

2

Вот нужная отворотка от шоссе, джип неуверенно запетлял по проселку. Тащились так мы еще неведомо сколько, и вдруг – в прогалах редкого чахлого ельника на дорожной обочине мелькнули раз-другой живо-весело нарядные, под цвет весеннего неба, с жёлтыми звёздочками поверху, церковные маковки. А вскоре и весь храм стал виден – на взгорочке крутого берега, над речной излучиной белобоко высится; длинной чередой к нему – дома деревенской улицы.

Повеселело на сердце...

У крайнего домишки, улезшего почти по самые подоконники в землю, топтался мужичок в фуфайке и нахлобученной на голову зимней шапке с распущенными ушами. Он старательно прикладывал козырьком к глазам ладошку, пытаясь разглядеть того, кто рискнул сунуться сюда на легковой машине.

– Не узнаешь? – спросил меня отец Сергий и кивнул Алику, чтобы остановился.

Мужичок, заметив священника, поспешно сдёрнул с головы шапку, шагнул к машине. Чёрные, с щедрой проседью длинные волосы по-поповски стянуты в жиденький хвостик; с бледного лица глядят с потаённой печалью большие чёрные глаза.

Володя-богомаз, точно он!..

Когда восстанавливали в городе наш храм,

потребовалось подновить уцелевшие фрески на стенах. Несколько десятилетий в храме ютился какой-то складишко – слава Богу, не клуб и не баня – вот и сохранилось кое-что.

Мастеровитый реставратор ныне в большой цене, днём с огнём его в провинции не сыщешь, и тогда находятся ребята попроще. Умельцы эти кочуют из города в город, из села в село, где им дело в храме, побогаче или победнее, всегда есть. Кто они – художники ли неудачники или с талантишком самоучки – никто их особо не расспрашивает. Посмотрит заказчик-батюшка на начальный образчик работы, крякнет одобрительно и махнет широким раструбом рукава рясы – благословляю! Прокатится времечко, выполнят богомазы заказ и – вольные птицы дальше по Руси.

Володя тот при нашем храме остался. Взяли его сторожем. В маленькой хибарке сторожки, где он поселился, появились подрамники с холстами. Володя не только ночами бродил с колотухой внутри ограды и отпугивал воров, но, отоспавшись, целый день проводил за холстом с кистью в руке. Если кто заглядывал невзначай, то Володя поспешно закидывал холст куском материи и смущённо улыбался. Пришельцы уходили обескураженные, но, порассудив, махали рукой: когда-нибудь сам посмотреть пригласит, а пока отвадился человек от кочевой жизни – и то ладно.

Вскоре истинная причина выяснилась, почему это художник остался у нас...

За «свечной ящик» продавец срочно потребовался, и кто-то из прихожан привёл молодую женщину. Дожидаясь настоятеля, жалась она к дверям в притворе, одетая в долгополую тёмную одежду, замотанная по-старушечьи по самые брови в полушалок. К плечу её льнула девчушка лет двенадцати, другая, поменьше, подпрыгивала нетерпеливо рядом и теребила мать за ладонь.

– Беженцы они, с югов, – поясняла прихожанка, дальняя их родственница. – Приютились у меня на первое время...

Весной, после суровых великопостных дней, разглядели все, что Иоанна, помимо доброжелательного и мягкого нрава, ещё и очень красива. Расцвела прямо-таки. Что ж, Володя-богомаз красоту видеть и ценить умел. И вот уже просил он у настоятеля отдать для новой семьи комнату-чуланчик, смежную со своей мастерской в сторожке...

Пропали Володя и Иоанна вместе с дочками внезапно, вроде б уехали куда-то к родне, да и не вернулись. «Опять потянула нашего богомаза кочевая жизнь! – решили прихожане. – И семейство с собой для повады прихватил. Вольному – воля...»

И теперь вот в этой глуши Володя, суетливо забегая вперед с края тропинки, вёл нас к своему обиталищу, а на крылечке, приветливо улыбаясь, встречала гостей Иоанна. Вернулась, оказывается, на родину, в дедовский дом, откуда еще девчушкой была увезена родителями в поисках призрачного счастья на чужбину.

В избе – без особых затей, небогато, только что в одном углу, у окна, Володины холсты. И опять был верен себе скромняга-художник: поспешно забросил холст покрывалом.

– Вот докончу, чуть-чуть осталось... А для вас, батюшка, всё готово.

На другом холсте – неброский пейзаж: широкая унылая гладь реки под снегом, череда тёмных домишек на дальнем берегу, но возле них весело зеленеет сосновый бор, а над всем на фоне морозно-багрового предзакатного неба, на крутизне над речной излучиной – торжественно! – храм.

Отец Сергий, довольно хмыкнув, достал кошелек и протянул деньги Володе. Тот смял их в кулаке и, плохо скрывая радость, забормотал торопливо:

– Обновок дочкам накуплю! Давно ждут!

Дочери вышли из тесной горенки-передней, благословились у отца Сергия. Старшие уже невесты, обе белолицые, русые – вылитая мать, а младшенькая – пятилеточка, смуглая, чёрные волосы в кудряшках и глазенки чёрненькие, Володины, только не с незатаённой печалью, а живые, весёлые.

Володя хотел взъерошить младшей дочке кудри на голове, но вдруг содрогнулся и аж согнулся весь от накатившего приступа кашля. Он и прежде покашливал, прикрываясь рукой, да мы не обратили внимания.

– Простудился я, – отдышавшись, наконец проговорил Володя и, смахивая капли пота, провёл ладонью по расцветшему нездоровым

румянцем лицу. – На тот берег ещё по льду на натуру бегал, чтобы картину дописать, в промоине и искупался... Вы прямо сейчас в храм пойдёте? Я провожу, ключи вот возьму!

– Сами бы дошли, страж ты наш неизменный! – ласково сказал ему отец Сергий.

– Нет, нет! Я быстро! – засуетился Володя.

На крылечке Анжела брезгливо отстранилась от художника – порог дома она даже не переступала, топталась в сенях и громко прошептала матушке Елене:

– Тут у него не простудой пахнет, а много хуже, держитесь подальше... Как только люди не живут!

3

Прогретый щедро солнцем, весь крутой взлобок берега под храмом зеленел робкой первой травой. От разлившейся реки веяло свежестью, холодом; тёмная поверхность воды поблескивала неподвижной гладью, и только посередине, на стремнине, течение несло льдины, брёвна, коряги, всякий мусор. Временами течение вроде б как замедлялось, стремнина очищалась, но за речной излучиной грозно нарастал гул, что-то гибельно трещало, и вдруг ахал точно взрыв; опять река несла вырвавшиеся из затора льдины.

После потаённого сумрака в храме глаза слепило солнце, и со взгорка к воде по узкой деревянной лесенке мы с отцом Сергием спускались боязливо, цепляясь за хлипкие ненадёжные перила. В храме, обычном, деревенском, с простоватой росписью на стенах, тканными домашними половичками, постеленными на дощатом полу, неожиданным было увидеть резной иконостас из нежно-розового мрамора. На витых столбиках его и арках над образами каждый крестик, листочек, ангелок вырезаны тщательно и с любовью. Предзакатное солнце заглянуло в окна храма, и мрамор засветился тепло.

– Откуда ж чудо такое?! Это в Москве или в Питере вряд ли где увидишь!

Отец Сергий в ответ на мои восклицания улыбается: дескать, не жалеешь теперь, что сюда поехал, и потом неторопливо рассказывает, глядя на проплывающие по реке льдины:

– Уж как слышал... Село здешнее Пожарским не потому, что когда-то горело, называется. В начале девятнадцатого века отошло оно во владение князю Пожарскому, последнему в роду. Бездетен был князь и уже немолод, переживал, что не оставит по себе наследника. Однажды приехал он из Питера имение свое новое глянуть, а тут старец столетний при храме обретается, проведал он про князеву беду. «Укрась, говорит, сей храм, мил человек, во славу Божию, чтоб слава о нём по всей округе пошла! И тебя Господь наградит».

Князь богомольный был, пораскинул умом туда-сюда и заказал в Питере мастерам иконостас из итальянского мрамора. Привезли его, установили. Красотища! И предсказание вскоре сбылось: понесла княгиня и родила долгожданного сына. С той поры и стали сюда приезжать и молить Господа о чадородии отчаявшиеся супружеские пары...

Эту историю моя матушка Анжеле рассказала. Лежали они в одной палате. Моя двойней разрешилась, а та скинула, и врачи вдобавок приговор вынесли – детей иметь не сможет. Но на все воля Божья...

4

С раннего утра ещё в храме пустовато. К отцу Сергию перед аналоем жмётся на исповедь очередишка из нескольких старушек, да «новые русские» наши, Алик с Анжелой, стоят неподалёку от царских врат, напротив храмовой иконы Богородицы. Зажгли большие, самые дорогие, какие нашлись, свечи, перекрестились робко и неумело, взялись за руки; оба вглядываются, не отрываясь, в Богородицын лик.

С клироса зачастил «часы» старушечий голос; в храм мало-помалу стал набираться народ. В конце литургии мы с отцом Сергием, собираясь выйти на крестный ход, уже едва протискивались к выходу из храма вслед за старичком хоругвеносцем и певчими.

Тут же стояла вместе со стайкой ребятишек Володина младшая девчонка. И надо же – в узком проёме выхода на паперть кто-то невзначай подтолкнул меня под локоть, и кадило в моей руке, звякнув цепочками, ударилось об створку ворот. Живыми светлячками разлетелись угольки, и один из них обжёг нежную щечку Володи-

ной дочки. Девчушка испуганно закрыла личико ладошками, закричала: «Мама, мамочка!..» – и ткнулась в обтянутые джинсами ноги Анжелы. Молодые на правах почётных гостей шли вплотную за священнослужителями. Анжела подхватила девочку на руки, прижала к себе, успокаивая, что-то зашептала на ушко.

Мимолетной заминки никто и не заметил, разве что я, старый неуклюжий медведь, да отец Сергий и «новые русские» наши. На верхотуре, на звоннице, задорно перекликались колокола, над народом, потихоньку выходящим из храма, торжественно-радостно плыло:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.
Христос воскресе из мертвых!..

Анжела с девчонкой на руках обошла кругом со всеми вместе храм; потом уже, когда закончилась служба и разошлись по домам истинные прихожане и случайные «захожане», мы обнаружили её сидящей на лавочке за домиком трапезной. Девчонка спала, положив голову Анжеле на плечо; на щечке её краснело пятнышко ожога.

– Тихо, тихо!.. – зашипела Анжела на бросившегося к ней обрадованно Алика. Тот ещё был и весь мокрёхонек с ног до головы – на крестном ходу таскал за батюшкой «иорданчик» со святой водой для кропления мирян.

– Где этот ваш... Володя? – по-прежнему шёпотом спросила Анжела и, не дожидаясь ответа, для пущей, видимо, убедительности округлив глаза с размазанной краской с ресниц, сказала Алику с капризными и одновременно приказными нотками в голосе: – Всё, солнце моё! Решено – берём девочку себе!.. И на тебя, посмотри, она даже немножко похожа!

Алик согласно кивнул.

Володя с Иоанной легки на помине: подошли скорым шагом, встревоженные, видно, кто-то из ребятишек наушничал о происшествии.

Иоанна хотела взять у Анжелы спящую девочку, но не тут-то было: та и не подумала её отдавать, обняла крепче.

– Мы хотим её удочерить. Надеюсь, вы не против? – может быть, впервые просяще, а не привычно требовательно: дескать, всё нам дозволено, – проговорила она. – У нас ей будет хорошо, получит прекрасное воспитание.

У Иоанны зарделись щеки, она решительным движением высвободила захныкавшую спросонок дочку из объятий Анжелы.

– Не кукла она вам! – сказала сердито. – Мы своих детей не раздаём!

И, гордо запрокинув голову, пошла, прижимая дочку к себе. Володя, оглядываясь, побрёл за нею.

– Вы же бедные! Какое будущее девочку-то ждёт, подумайте! – кричала им вслед Анжела. – Ну не понимают люди своего счастья!

И уж последнее выдохнула горько, чуть слышно:

– Она же меня мамой назвала...

Алик, задрав капот джипа, стал сосредоточенно копаться в моторе. Анжела забралась в салон и сидела там с отрешённым видом, вытирая слёзы. Матушка Елена, подобравшись потихоньку к ней, зашептала что-то успокаивающе. Я пошёл искать отца Сергия – пожалуй, пора и честь знать, в дорогу собираться. А он тут неподалёку был, слышал всё:

– Молодцы, однако! – похвалил. А кого – и непонятно.

Когда джип подкатил к выезду из села, впереди замаячил вдруг Володя с каким-то свёртком в руках.

– Подождите! – он развернул свёрток; это была картина. Белоснежный храм опоясывал по изумрудно-зелёному холму крестный ход; сверкали хоругви, за священством шёл принаряженный празднично люд, взрослые и дети. И в напоенном весною воздухе, в солнечном радостном свете разливалась благодать. «Красная Горка!»

– Последний штришок дописал... И дарю вам её, дарю! – свернув холст, Володя совал его в окно автомобиля Анжеле и Алику. – Простите нас...

Всю обратную неблизкую дорогу ехали мы, не проронив и слова: каждого, видно, одолевали свои думки. Только у въезда в город Анжела, словно очнувшись от тяжкого забытья, попросила нас тихо:

– Помолитесь за Александра и Александру, так нас при крещении нарекли...

МАЭСТРО

Нина Ивановна спустя много-много лет всё-таки вернулась однажды в Ильинку. В храме она остановилась перед кануном, сжимая в руке пучок простеньких свечечек; зажигая и расставляя их, шептала имена, на мгновение воскрешая в памяти полузабытые лица давно ушедших.

Вошла сегодня в храм Нина Ивановна без опаски, не остерегаясь осуждающего чужого глаза, не как в далёкой юности...

Тогда все её ещё звали просто Нинкой-Ниночкой. Она собиралась идти учиться в десятый класс, когда её отца, подполковника, заместителя командира танковой части, из города в Подмосковье перевели в глухую северную глубинку. Нинка с мамой особо не отчаивались, собрались быстро: что поделать – судьба военная такая. Да и отца с войны четыре года ждали, вернулся совсем недавно.

Нинка теперь после уроков в новой школе, бывшем купеческом особняке в центре городка, домой не мчалась как угорелая, – не мелочь пузатая уже, а вышагивала не торопясь, в окружении сверстников, форсисто задрав носик и помахивая портфельчиком в руке. Голову рослой Нинки украшала свёрнутая в тяжёлую корону русая коса.

Ближе к околице ватага сверстников таяла. Дальше девчонке по полевой дороге вдоль жидкого перелеска до бараков воинской части предстояло бежать одной. Из мальчишек-одноклассников в провожатые пока никто не набивался, видимо, робея Нинкиного городского гонора и под стать ему характера.

Миновав околицу, Нинка прибавляла шаг, потом уж чуть ли не бежала. От заносчивой девчонки не оставалось и следа, мчалась, как последняя трусишка. Ещё бы – в продуваемом насквозь ветром редком перелеске начинала мелькать согбенная мужская фигура с длинными всклоченными космами на голове. Незнакомец, выглядывая из-за стволов деревьев, передвигался по перелеску ничуть не медленнее Нинки, вынужденной перескакивать и обегать дорожные ухабы, заполненные водой. Девчонка, хоть и боялась попристальнее взглянуть в его сторону, всё-таки успела рассмотреть лицо с вытаращенными глазами и облепленное клочками седеющей щетины. Домой Нинка заскакивала – не помнила как...

Она стала брать провожатых парней, уговаривать их не пришлось: тряхнула косой – и тут же побежали наперебой. По перелеску теперь никто не метался, лишь раз мелькнула в стороне знакомая фигура и пропала.

Нинка вздрогнула и испуганно заозиралась.

– Яшки, что ли, боишься? – спросил один из провожатых кавалеров. – Так это наш дурачок, безобидный и добрый. Ничего худого не сделает.

И вправду, Яшка к Нинке по-прежнему близко не подходил, только выглядывал её, прячась, из-за углов, и Нинка скоро стала привыкать к такому странному вниманию.

Иногда и ей самой доводилось незаметно понаблюдать за своим нежданным «поклонником».

У Яшки было, видимо, что-то неладное с ногами: развёрнутыми в разные стороны ступнями он вздымал клубы пыли, неуклюже переваливаясь по подсушенной ещё почти летним солнцем улице, но передвигался довольно быстро, наклонив вперёд голову с нечёсаной гривой. Было Яшке за тридцать, сильно старила его борода с нашлёпками седины. На лице его, казалось, застыла навсегда блаженная улыбка, хотя большие чёрные глаза смотрели с печалью.

Выскакивали из подворотен брехучие псы, норовили ухватить Яшку за штанины; мальчишки-мелюзга, дразнясь, бежали следом за ним и пуляли камушками. Яшка хоть бы что, скаля зубы, упрямо пёр вперёд...

Жил он в сторожке на краю погоста возле Ильинки: старик сторож потеснился, уступив на время убогому чуланчик, а тот так в нём и остался. Старушонки прихожанки Яшку, жалея, подкармливали, да и сам он не слонялся без дел, а их в приходском хозяйстве пруд пруди.

Вот так же, жалеючи и чуть с насмешкою, однажды провожала взглядом Нинка бедолагу, несущегося куда-то по улице.

Нинка и сама спешила – на «осенний бал» в городковском Доме культуры. В новом платьице, стесняясь накинутого на плечи старенького маминого пальто, она старательно обходила лужи, стараясь не запачкать туфли. Предстояли не какие-то школьные танцульки, а настоящий

первый в жизни «взрослый» бал. К «дому культуры», расквартировавшемуся в стенах церковного собора, она пришла одной из последних. Постояла в нерешительности перед входом в здание со сбитыми куполами, перешагнула порог, заметив проступающую сквозь побелку фреску со святым ликом над аркой входа.

Стены внутри собора, высокий свод тоже были наглухо забелены, но лики святых всё равно проявлялись тут и там. Новые хозяева здания пытались их прикрыть кумачовыми полотнищами с наляпанными наспех в духе времени лозунгами.

Молодежь толпилась у дальней стены возле штабеля составленных друг на дружку длинных лавок для зрителей – кино показывать сегодня не собирались. На деревянном помосте сцены, устроенном в алтаре, резвились, выплясывая, девки в красных косынках из агитбригады; потом, жутко фальшивя, что-то попытался исполнить местный духовой оркестр.

И наконец... Заскучавшая Нинка даже растерялась, увидев на сцене... Яшку. В чистом, явно с чужого плеча, костюме, с аккуратно причесанными волосами и подстриженной бородкой, он неуклюже проковылял к роялю, громоздившемуся в углу сцены, сел на табуретку, все с прежней своей блаженной улыбкой поднял над клавиатурой руки с длинными пальцами и когда их опустил... Звуки вальса взметнулись и разлились под соборными сводами, по упраздненному властями Божьему храму закрутились в стремительном танце пары.

Нинку пригласил молодой красавец лейтенант из отцовского гарнизона. Увлеченная танцем, она все время чувствовала на себе Яшкин взгляд, хотя, казалось, за роялем он забыл обо всём на свете, без устали играя долгий вечер напролёт.

Все остались довольны: и танцоры, и любители просто поглазеть, подперев плечом стенку. Только непонятно было Нинке: почему это в своем углу, что-то шепча, украдкой крестилась бабка-билетёрша...

Яшка после того вечера куда-то пропал. Нинка забеспокоилась даже. Будто чего-то не стало хватать в этом маленьком городке. И ноги её как-то сами собой принесли к ограде Ильинки, где в сторожке обитал Яшка. В храм она не зашла, побоялась: отличница, комсомолка – мало что накажут, но еще и за «свихнувшуюся» посчитают.

У ворот Нинке встретилась та старушка билетёрша из «дома культуры».

– Я уж, милая, подумала на тебя, что это наша Настенька воскресла! – воскликнула она, всматриваясь пристально Нинке в лицо.

– А кто она была?

– Дочка здешнего диакона.

Старушка поозиралась, взяла Нинку за руку и отвела на укромную лавочку, спрятанную в еще не облетевших кустах у ограды.

– Перед войной, в тридцать седьмом, их всех забрали. Настенька-то от отца не отреклась – и её тоже. И Яшкиного родителя, отца Игнатия, со старшими сыновьями. Яшке-то младшему, «заскрёбышку», особенный талант к музыке Господь дал. Парня даже в консерваторию в Петербург учиться взяли. А потом тоже – в тюрьму... – старушка заговорила ещё тише. – И вот Яшка вернулся: то ли отпустили, то ли сбежал. Ноги обморозил. Прибёг домой, а родных никого в живых нет. Всех! Он на колокольню взобрался и сиганул вниз. С горя . Грех смертный задумал совершить – самоубийство. Но жив остался. Господь безумием его наказал, только талант не отнял, оставил... А Настенька-то невестой его была обрученной. И ты – вылитая она!

– Где сейчас он... Яшка? – спросила растерянная и потрясенная старухиным рассказом Нинка.

– Лежит вон в сторожке едва живой... Он после каждого такого своего выступления болеет тяжко. Вот ведь судьба – памятью от прежней жизни один рояль у него остался, и в соборе, где отец настоятелем служил, играть для публики ему приходится. Страдает он, хоть и не в себе давно...

Нинка поднялась с лавочки и хотела уж пойти в сторожку проведать Яшку, но старушка удержала её:

– Лучше тебе, девонька, его сейчас не видеть! Он ещё хуже, чем есть...

Дома Нинку ожидал радостный, взволнованный отец:

– Собирайся, стрекоза, уезжаем отсюда! Меня переводят служить в Германию!..

Через пару дней немудрёный семейный скарб был уложен в кузов грузовичка. Отец попрощал-

ся на плацу с танкистами, сел на переднее сиденье открытого «виллиса» рядом с солдатом-водителем. Нинка и мать расположились позади.

Миновав околицу городка, машины вывернули на большак. И тут, у поворота, Нинка заметила знакомую косолапую фигурку, ковыляющую наперерез по полю.

Яшка застыл на дорожной обочине как вкопанный, и, когда мимо, набирая скорость, проезжали машины, так же, как и раньше, глядя на Нинку, блаженно улыбался, и так же печальны были его глаза. Он поднял руку и прощально помахал. Робко, оглядываясь на мать, махнула ему рукой и Нинка...

...Нина Ивановна долго ещё стояла у кануна, дожидаясь, пока не погаснет огонёк поминальной свечки. Что стало с тем бедолагой Яшкой из далёкой её юности, как окончил он дни свои? Теперь наверняка никто и не ведал. Сколько страдальцев в разные времена видел этот Ильинский храм – несть им числа!

БРАТ ВО ХРИСТЕ

Руф Караулов считал себя всё-таки приличным работягой, в праздничные дни выбривался чисто – бородку отпустил, когда в церковь ходить стал, оболакивался в незатасканную рубаху и штаны с надрюченными «стрелками». В будни-то ладно, можно и кое-как бродить, в рабочем: мастеровой мужик – невелик кулик.

Коля Шибалёнок и в будни, и в праздники вышагивал в одних и тех же замызганных, давным-давно потерявших первоначальный цвет и форму обносках с чужого плеча. Маленькие поросячьи глазки на опухшей от постоянной опохмелки роже с кустами щетины на щеках заплыли, превратились в хитрющие щёлочки; под грузным коренастым телом – кривые ноги враскоряк: не сразу поймешь, что «поддал» ли хорошенько Шибалёнок накануне или «прозрачен аки стеклышко».

Коля труждался экспедитором-грузчиком в общепите, помимо кое-какой силёнки обладал пронзительно визгливым голосом. Ошалев от его раздраженного тембра, а еще пуще – от выражений, разбегались, бывало, даже грузчики, а бабы-продавщицы боязливо-заискивающе обращались к Шибалёнку по имени-отчеству.

Руф, он и до седых волос – Руфик, Руфка, а тут шаромыжника – и так уважительно!.. Обидно!

С начальством Коля был ласков и обходителен, подобострастен до неприличия, до распускания слюней, и ещё одно обстоятельство присутствовало: Шибалёнок мог запросто настучать на ближнего. За что Колю в изрядном подпитии не раз подкарауливали и метелили мужики.

Руф и Шибалёнок жили на одной улице, правда, в разных концах, были ровесники, учились в одной школе. У обоих – неласковые суровые матери. Шибалиха голосиной обладала еще покруче сынка – не дай бог, какой ротозей забредал на территорию возле общепитовской конторы, где бабка орудовала метлой, и невзначай ронял окурок. Шибалиха не только орала благим матом, но и норовила отхлестать нарушителя своим орудием труда. Часто попадало на орехи и подвыпившему сынку, мать на расправу не скупилась.

Коля и Руф, получалось всё время, как-то нигде не пересекались. Ни в мальчишеских потасовках, ни потом – за столиком в пивнухе или за одним стаканом на брёвнышке под забором, ни тем более – в библиотеке, где Руф брал почитать исторические романы и книги «просто о жизни», а Коля, наверное, кроме букваря, ни одной книжки больше не осилил.

Руф был удивлён – да куда там! – потрясён, когда увидел знаменитого матюкальщика стоявшим на воскресной службе в церкви. Шибалёнок, скромно потупив глазки, топтался возле солеи, на самом виду, напротив «царских врат», оттеснив испуганно поглядывающих на него старушонок. Заметив Руфа, он дружелюбно подмигнул ему как старому приятелю.

С какого уж бока сумел Шибалёнок подкатиться к настоятелю отцу Павлу – бог весть... Для батюшки, говорят, всякий брат во Христе – свой.

Коля вваливался всегда шумно, заполняя настоятельскую каморку-келью смрадной вонью перегара, мочи, табачища. Растягивая в умильно заискивающей улыбке помятую, с линялым фингалом под глазом, рожу, бросался к отцу Павлу, хватал его руку и принимался смачно ее лобызать. Потом облапливал за плечи худощавую фигуру священника:

– Лучший друг ты мой, отец святой!

Руф, починивающий оконную раму, тоже удостоился дружеского кивка: привет, столяр!

– Тётку надо причастить, она уж там на последнем издохе, давно лежит, не встаёт, – затараторил Шибалёнок. – В пригороде это, в Луках! Я там тебя, отец родной, в любое время с автобуса встречу и в нужное место проведу.

– Да, тут дело такое, отлагательства не терпит, – согласился отец Павел. – Давайте договоримся – где и когда?..

В сопровождающие батюшка взял Руфа, всё-таки местный житель. С городом приезжий отец Павел был ещё плохо знаком, а тут – пригород, посёлок. Руф там тоже никогда не бывал, но промолчал о том.

В тряском, дребезжащем всеми внутренностями автобусе-»сарае», видимо, только что выпущенном в рейс, отец Павел продрог в своем тонком осеннем пальтишке, пока добирались до места. На конечной остановке путники поспешно выскочили из промороженного салона – на улице показалось много теплее. Возле покосившегося, с исцарапанными всякими похабными надписями стенами павильончика их никто не ждал.

– Может, задерживается где Коля? Сейчас прибежит? – с надеждой вопросил отец Павел, озираясь по сторонам.

– Чего его ждать-то? Пойдём сами! – спустя какое-то время предложил Руф, глядя на съёженного вконец на пронизывающем до костей мартовском ветру батюшку. Аж стёкла очков на носу у бедного изморозью покрылись.

И тут выяснилось, что ни названия улицы, ни номера дома, где ожидала болящая старушка, ни тот и ни другой не знают.

Руф махнул безнадёжно рукой на длинную череду одинаковых, как близнецы, бараков-времянок пристанционного поселка:

– Поехали, отец Павел, обратно! Где тут искать?!

– И всё-таки давай попробуем... – стуча зубами, не согласился священник.

В ответ на расспросы, где обретается недвижная богомольная бабулька, встречные прохожие, поглядывая с удивлением на двух бородачей, недоуменно пожимали плечами.

Поплутав вдоволь по всяким проулочкам, путники окончательно приуныли, и тут Руф хлопнул себя по лбу – вот уж верно: хорошая мысля приходит опосля!

Первая же небритая, красноносая, слегка пошатывающаяся личность изрекла:

– Шибалёнок? Да он вон, в пивнухе возле остановки гужбанит!

И точно. Едва заглянул Руф в питейное заведение – и за ближним к выходу столиком обнаружился притулившийся там Шибалёнок. Он лениво, вроде б как нехотя, дотягивал из кружки одёнок пива, дремал не дремал, раскачиваясь на кривых ногах и с блаженством жмуря щёлки глаз. Но стоило его соседу, тщедушному мужичку, от переизбытка пития заикать и устремиться на выход, как Коля, не кумекая долго, подвинул к себе его недопитую кружку и стремительно выглотал из неё пиво.

Руфу так и зазуделось подойти и треснуть хорошенько по этой мятой довольной харе! Шибалёнок опередил: сначала по его лицу промелькнуло удивление, потом в более активно зашабарошившемся мозгу возникло воспоминание – и вот Коля, скорчив виновато покаянную мину, заторопился навстречу Руфу:

– Ой, с батюшкой меня простите! Давно вас жду! Забежал вот на минутку погреться...

Увидев на улице продрогшего отца Павла, Шибалёнок и умильную слезу бы, наверно, пустил, кабы священник сурово не подогнал его:

– Веди!

– Это рядом! Вон там!

Коля вбежал на крылечко неказистого домика, не особо церемонясь, забарабанил кулаком в дверь. Вскоре дверное полотно заходило ходуном уже под его пинками, но по-прежнему никто не спешил открывать.

– Уф! – Шибалёнок грязной ладонью вытер испарину со лба, оставляя на нем чёрные полоски. – Васька – гад, сын ейный, не иначе на работу убежал. Нас, мудило, не дождался! А она, хозяйка-то, больше года с кровати не встаёт, – он подошел к окну с приоткрытой форточкой, постучал в стекло. – Бабуля, слышишь? Мы с батюшкой тут, не виноваты только, что к тебе не попасть...

И потупил свои плутоватые глазки под сердитым и уничтожающим взглядом отца Павла из-под стёклышек очков.

В дверном замке вдруг заскрежетал ключ. Дверь распахнулась; на пороге стояла, цепляясь за дверные косяки, иссохшая – одна тень! – старуха в исподнем. На застывшем, неподвижном, будто маска, испитым жестокой болезнью, землистого цвета лице её жили одни только глаза, и было во взгляде их что-то уже далёкое от мирской суеты, ведомое человеку лишь на последнем пределе. И еще вера была в них.

Мгновение – и бабулька упала на руки подоспевшему отцу Павлу; Руф с Шибалёнком застыли, распялив рты. Старушку унесли в дом; отец Павел едва успел накинуть ей на голову край епитрахили, принимая от нее «глухую» исповедь, и причастить её Святых Христовых Тайн, как старушка, просветлев ликом, отошла в мир иной.

– Видели? – спросил священник у своих растерянных и потрясенных спутников. – Вот как верить надо!..

Шибалёнку порою, видимо, надоедало трястись от холода под грудой тряпья в своей нетопленной комнатушке в коммуналке или ночевать после возлияний по городским кочегаркам. Он выдумывал причину для заболевания и заползал в палату местной больнички понежиться на чистых простынях и пожрать, пусть и скудновато, зато размеренно. Благо – старые доктора еще полуголодной советской поры хорошо помнили Шибалёнка как экспедитора продуктового склада, и благодарность их за прежние Колины благодеяния не улетучилась с приходом капитализма.

В конце зимы Шибалёнок не стал дожидаться тёплых дней, с загноившимся пальцем залёг в больницу. Тут его и повстречал отец Павел, пришедший соборовать одного старичка. Дедуля где-то упал и сломал бедренную кость, лежал на койке с ногой – навытяжку, впрямь как летчик-испытатель после катастрофы.

Коля, радостный, вышмыгнул из соседней палаты, с бодрым кликом полез лобызаться к батюшке, засуетился возле него, норовя ему подсобить: зажёг свечку и тут же, шумно вздохнув, загасил её.

Закончив таинство соборования, отец Павел, морщась от ядрёного духа, исходящего от старичка, спросил Шибалёнка:

– Ты истинно верующий?

– Да! – Шибалёнок, состроив торжественно-скорбную мину, торопливо обмахнулся заскорузлой щепотью.

– А слыхал, что вера без дел мертва есть? – с лукавинкой посмотрел на него отец Павел.

Коля в ответ промычал что-то невразумительное, развел руками.

– Вот тогда за дедушкой поухаживай! Видишь, старичок не прибран – ни родных, ни близких! Ну как? Благословить тебя на доброе дело?

Шибалёнку ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть...

Обихаживать деда он взялся с круто подсоленным матерком, не особо кого из соседей или врачей стесняясь. Созывая всех чертей на голову бедолаги, вытаскивал из-под него судна и утки. Притащив из столовки поднос со скудным обедом, пичкал им старичка, совал тому в беззубый рот ложку с кашей, а то и мимо её просыпал.

Всё как бы ни было, но дед споро пошёл на поправку, а Шибалёнок потом обосновался у выписавшегося из больницы старика на топчане возле жаркого бока печки. Дедуля пенсию получал и делился по-отечески с Колей харчами, выдавая иногда ему и на винишко.

Жаль только, что лафа скоро кончилась: у старичка родственнички объявились, и Шибалёнка без церемоний выставили за дверь.

Тут он и вовсе стал возле отца Павла виться...

Дела от Шибалёнка мало, он больше горазд был трескать еду в три горла в трапезной и молоть языком. Отец Павел поначалу избегал его, даже прятался, да разве скроешься от Коли! Притулится он на приступок возле двери настоятельской каморки-кабинета и будет, ожидаючи, часами сидеть-рассиживаться тут, задирая пробегавших мимо по всяким надобностям служек. Потом всё-таки батюшка смирился, особенно после того, как Шибалёнок опять оказался бесприютным, приноровился, занимаясь своими делами, слушать его болтовню и пропускать её мимо ушей – наподобие трёпа диктора из радиоприемника на стене. И ночевать оставлял Колю в своем кабинете на старом диванчике.

Что поделаешь, раз послал Господь такое чадо духовное, надо же его окормлять и наставлять!..

В начале лета на острове посреди Святого озера в окрестностях города собрались восстанавливать монастырь. До настоящих насельни-

ков-монахов было ещё далеко; несколько трудников – бригада заезжих реставраторов по благословению архиерея пыталась обустроиться среди хаоса из груд битого кирпича, завалов гнилых балок и брёвен, всякого мелкого хлама, оставленного рыбацкими артелями.

Островок напоминал гигантский валун, зашвырнутый Всевышним при сотворении мира точно в середину озера. Вздымалась одиноко колокольня без креста с одиноким же большим колоколом с подвязанным «языком». На озере день тих, да час лих: налетит буря, вздыбит волну на мелководной, доселе вроде бы и безобидной «луже», и держись тогда, и Богу молись зазевавшийся рыболов, коли не успел до беды добраться до берега!

И вот из сумрака сквозь заполошный вой ветра и водяной рёв до слуха отчаявшихся людей доносится звон колокола. Рядом остров! Спасены!

В седые времена здешний удельный князь тоже спасся от бури на острове, едва не пойдя ко дну в утлой лодье. Монастырёк в честь того основал, и несколько веков тихая обитель обреталась тут, пока в безбожную пятилетку, угодливо обезьянничая с негодяев, взорвавших в Москве храм Христа Спасителя, здесь тоже местные «активисты» не раскололи взрывом собор. От громадных кирпичных глыб попытались было откалупывать по кирпичику, найдя вроде б и применение – для постройки скотных дворов в колхозе на «материке», да куда там – ломы беспомощно отскакивали от старопрежней кладки.

Звонницу тогда не тронули и один колокол на верхотуре оставили: пусть послужит вроде маяка в бурю – Бог-то запрещен, да кто знает...

Теперь, бродя по монастырским руинам, кто-то из молодых реставраторов предложил:

– Вот глыбы-то эти соборные поднять да и смонтировать бы на специальный клей!

– Придёт время... – откликнулся ему руководитель группы пожилой мужчина, московский профессор родом из села на берегу озера. – Нам бы сейчас тут зацепиться, осмотреться, обустроиться. Трудников бы! Сколько работы черновой, сколько разгребать всего!

– Вам – первый! – отец Павел легонько подтолкнул к нему Шибалёнка, таскавшегося по острову за батюшкой по пятам со значительно скорченной миной.

– Я? – Коля смешался, глазки его беспокойно забегали, а когда отец Павел и Руф стали садиться в лодку, чтобы плыть обратно на «материк», и он сунулся было следом.

– Благословляю! Оставайся, трудись! – священник размашисто перекрестил Колю из отчаливающей лодки. – Здесь ты нужнее!..

Шибалёнку копаться в горах хлама на острове скоро наскучило. Жалился он на жуткие боли то в спине, то в голове, а то и еще где, норовил с видом страдальца поваляться и погреться подольше на солнышке, но пуще – нёс без умолку всякую околесицу, пересыпая её просоленными словечками и заставляя брезгливо морщиться профессора и криво ухмыляться молодых.

Потому оказался вскоре Коля в подручных у кашевара, одинокого бобыля из прибрежного села. Тот тоже на старости лет вернулся в родные края с разницей только, что профессор почти всю жизнь прожил в Москве, а кашевар «кантовался у хозяина» на суровом Севере. Шибалёнок с боязливым почтением косился на вытатуированные синие перстни на его пальцах, заглянув в ощерившийся фиксами «под золото» его рот, беспрекословно мчался рубить дрова или послушно заседал чистить картошку. Впрочем, кашевар больше что-то делать Колю и не заставлял. Сварганив обед, он уходил с удочками на дальний утёс, Шибалёнка от себя не отгонял и, сосредоточенно глядя на поплавки, хмыкал в ответ на все того побасёнки.

И Коля рад-радёшенек: это тебе не в кирпичных завалах неведомо зачем день-деньской ковыряться. Тут слушает тебя старый «блатырь» вроде б и с интересом и еще довольно подхохатывает. Вот только со взглядом его – исподлобья, чёрные зрачки глаз, точно свёрла, до донышка душу достают – лучше не встречаться...

Однажды свёрлышки эти бесцеремонно и больно впились Шибалёнку в нутро, отчего затрусило беднягу бездомным щенком перед волкодавом. Брякал языком, как обычно, Коля да и похвалился: дескать, батюшке-то Павлу он друг самолучший, что бы с ним ни приключись, тут же примчится отец Павел на выручку.

– К тебе, фраерку?! – усомнился кашевар. – Да нужен ты ему сто лет! Они, попы, до «бабла» жадны, а у тебя, как у латыша, хрен да душа!

«Сам хренов... атеист! – Шибалёнок понахва-

тался в церкви новых для него слов, но вслух, конечно, ничего не сказал и, когда в чёрных глазах кашевара растеклась ядовитая насмешка, вздохнул: – Погоди уже!..»

Что там Коля задумал, что с ним случилось, но на другой день кашевар пришел к палатке реставраторов встревоженный:

– Слышь, начальник! – обратился он к профессору. – Там у меня этот придурок, напарник мой, в натуре загибается!

Шибалёнок и вправду лежал в лачуге на куче тряпья и, страдальчески кривя рожу, прижимал сложенные крестом руки к груди.

– Хватанул, наверно, втихаря какой-нибудь «барды» у старух... Утром мы с ним плавали в село за продуктами. Может, продрищется? – предположил кашевар.

– Да тут что-то серьезное... – склонился над жалобно постанывающим Колей профессор и попытался разобрать его шепот. – Что, что?! Отца Павла зовёт! Тут фельдшера, пожалуй, надо!

– Нет! – еле слышно прошептал Шибаленок. – Отца Павла... Хочу исповедаться и причаститься.

– Так не поедет, поди, попина-то! Что с этого «чушка» возьмешь! И не посуху еще добираться. Вон какой ветерок по озеру тянет! – засомневался кашевар.

– Что ж! Позвоним! – решил профессор, доставая мобильник.

Подплывающую почти в сумерках к острову лодку заслышали по стуку мотора. Уже можно было различить на её носу нахохлившегося в рыбацком плаще отца Павла и Руфа на корме. На мелководье малоопытный кормщик неосторожно подставил разгулявшейся волне борт, и посудина перевернулась.

Руф вынырнул, отплевываясь, махнул было на саженках к острову, но опомнился, закружился на месте, а потом и вовсе легко достал ногами дно – воды только по горло. Увидел неподалеку от себя чёрное осклизлое днище лодки и... всё. На острове перестали орать и бестолково бегать по берегу, кто-то уже плыл навстречу.

Руф громко позвал отца Павла, хлебанул воды. Его, подхватив с двух сторон, ребята-реставраторы повлекли к берегу. Позади еще плескались, ныряли.

На берегу, трясясь от холода и недавнего страха, Руф увидел наконец, что и отца Павла островитяне вынесли из воды, стали делать ему искусственное дыхание.

– Поздно! – кашевар, приложив ухо к груди священника, горестно поморщился. – Сердчишко, видать, у бати было ни к черту.

Своим тяжелым волчьим взглядом он нашёл Шибалёнка, до того голосившего громче всех и по виду – совершенно здоровым бегающего по берегу. Тот съёжился, захныкал жалобно и, ослабнув в коленках, повалился на землю.

– Батюшка! Отец Павел, друг родной, как я без тебя буду-у?! – Колю прорвало, тело его сотрясали рыдания. – Кому нужен, куда пойду? – ревел Шибалёнок в голос. – Прости меня глупого!..

СТАВЛЕННИК

1

Владыка Серафим готовился к уходу на покой. Таков устав – архиерею после семидесяти пяти лет следовало подавать о том прошение. Оно, полежав где-то под сукном на столе, возымело ход, и теперь в лавре готовили старому архиепископу преемника. Владыка, теребя дрожащими от волнения и немощи пальцами лист бумаги с патриаршим указом, увидел вдруг себя как бы со стороны. В большом, залитом солнцем кабинете за письменным столом горбился в поношенном, ставшем просторным для высохшей плоти подряснике старец с лысой, изляпанной коричневыми пятнами головой с седым пушком реденьких волос над ушами.

«Вот и жизнь прошла...»

– Владыка, вы просили напомнить... – из приемной заглянул секретарь. – Кандидат на духовный сан к вам для собеседования!

– Пригласите!

Ставленник был неказист, мал ростиком, топтался робко в большущих резиновых сапогах возле двери, и с них натекла на пол грязная лужица. Наконец он опомнился, где находится, и суетливо, чуть ли не вприпрыжку, подбежал под благословение поднявшегося из-за стола архиерея.

Узкое, в глубоких прорезях морщин лицо со

скорбными складками от краев тонкогубого рта, небрежно подстриженная пегая бородёнка, настороженный взгляд выпуклых водянистых глаз.

«Годиков тебе уже немало, батюшко! И прожил ты их непросто, нелегко, – решил владыка. – И не умствовал много, сразу видно по рукам-то...»

Кисти рук, увесистые, мослатые, с грубой кожей в заусеницах с въевшейся грязью, ставленник пытался втянуть в короткие рукава невзрачного пиджачка.

«Подбирает же кандидатов на сан отец Павел! – усмехнулся владыка. – Хотя... Глаз у него как рентген. Доверимся. Да и этот уже мой последний, кого «рукополагать».

– Так и будем молчать? Представьтесь...

– Караулов... Руф, – задудел угрюмо гулким басом кандидат.

«Диакон добрый, однако, выйдет! – решил было с удовлетворением владыка, но насторожился – фамилия знакомой показалась.

Он попросил кандидата рассказать о себе, только в скупо роняемые им слова вслушивался мало. Сквозь толстые линзы очков пристально всматривался в лицо ставленнику и пытался вспомнить, где видел похожее...

2

Когда будущий ставленник Руф Караулов неуклюже откланялся и ушёл, владыка Серафим вспомнил всё. Не зря фамилия кандидата заставила его напрячь память. От воспоминаний больно кольнуло сердце. Серафим в ту давнюю пору еще только-только начинал служить священником...

Из алтаря отец Серафим, правя пасхальную заутреню, не видел, отчего в храме вспыхнул пожар. Это уж потом рассказывали, что у кого-то из прихожан, стоящих вплотную к подсвечникам, уставленным множеством зажженных свечей, загорелся рукав одежды.

Больше самого бедолаги испугался отец Петр, поблизости за аналоем принимавший исповедь у старушек. С воплем метнулся он в узкий проход в толпе заполонившего храм люда, навострив перед собой клюшку, заковылял, припадая на больную ногу, подбитым селезнем, расталкивая всех, к выходу.

В храм, помимо прихожан, набилось просто зевак, даже подвыпившая молодежка сумела просочиться сквозь оцепление из милиционеров и комсомольцев-активистов. Вслед поповскому истошному воплю всё стиснутое толстыми стенами скопление людей встревоженно колыхнулось и схлынуло к притвору, к крутой, ведущей на улицу лестнице. Кто-то из задних не устоял на ногах, соскользнул со ступеней, и жалобный заячий вскрик сгинул в заполошном топоте множества ног, перепуганном рокоте голосов. И опять кто-то задавленно вскрикнул в толпе, пытающейся в тесноте притвора вырваться на улицу, и еще загас чей-то предсмертный стон.

Владыка Гавриил показался в раскрытых «царских вратах», своим слабым голосом попытался докричаться до охваченного ужасом людского скопища, вразумить, успокоить паству, да куда там...

Он повернулся и тяжело упал перед Престолом на колени, согнулся в земном поклоне. Прежде гордый, даже надменный старец древней княжеской крови шептал горячо и торопливо: «Господи, помоги! Остуди неразумных!»

Диаконской дверью в алтарь по-хозяйски вошёл местный уполномоченный по делам религий Аким Воронов. Во всеобщей суматохе и панике он, похоже, не растерялся только один. Сгрёб в охапку бедолагу-старушонку, нечаянную виновницу пожара, содрал с неё тлеющую лопотину, бросил на пол, затоптал.

– Думаешь, боженька поможет? А, ваше сиятельство? Чего ж молчите?

Воронов с издёвкою называл архиерея вместо «преосвященства» на светский манер «сиятельством», норовя лишний раз подоткнуть, что владыка был далеко не пролетарского происхождения, а из аристократической, недобитой революционными бурями семьи, сбежал с братом за границу. Тот и до сих пор там. Что братья за «бугром» поделывали – большой вопрос, но, когда товарищ Сталин ослабил нажим на «длинногривых», скромный монашек вернулся на родину и вскоре епископом стал.

Да тут Никита Сергеевич Хрущёв твёрдо пообещал показать последнего попа по телевизору. И выперли епископа Гавриила из Ленинграда в далёкий северный город. Забыл господин, где находится – не во Франции, а в советской стра-

не, стал разные вредные проповеди о божественном за каждой службой произносить. В храм потянулись молодые оболтусы – и в одиночку, и ватагами. Интеллигенция всякая гнилая, крадучись, зачастила туда, поразвесила уши.

Но здесь на то и есть он, Аким Воронов, мужик далеко не промах. В войну служил в «особом» отделе, с поднадзорными много церемониться не привык, не особо тороват был и к попам. Грузный, неуклюжий Аким расхаживал по алтарю по-хозяйски, людская суматоха в храме вроде б как его и не касалась, он подошёл к отцу Серафиму и, обдав того тяжким табачным духом, приблизил почти вплотную своё лицо, скривленное в глумливой усмешке:

– Тебе, батько, ответ держать как настоятелю... Коли какую божью овцу в толкотне задавили. Слыхал я, как ты тут перед службой с начальником оцепления толковал насчет того, чтобы молодёжку в церковь пропустили. Видишь, что приключилось?! Теперь хоть на коленках передо мной ползай, но регистрации я тебя лишу. Говорил я тебе: ты ж кандидат технических наук, светлая голова – и какого только праха в попы полез?! Не пацан зелёный, а почти профессор!

Жертвы были. В давке на лестнице затоптали насмерть старушонок – божьих одуванчиков; власти стали искать крайних, и ясно, что нашли. Владыку Гавриила насильно отправили на покой, а отец Серафим, официально «почисленный за штат», фактически был вышвырнут властным пинком без всяких средств к существованию: говорили, что ещё легко отделался...

Отец Пётр подстерёг его поздним вечером возле арки ворот в церковной ограде, выкурнул откуда-то из темноты в круг света под тусклым фонарем и заковылял навстречу, волоча за собой угловатую дрыгающуюся тень. Хотел было по-братски расцеловаться, но замер с раскинутыми руками на полпути:

– Ты прости меня, отче! Все твои беды из-за меня... Но не по своей я воле!

Отец Серафим на миг представил довольную ухмыляющуюся физиономию Акима Воронова и, не останавливаясь, прошёл мимо отца Петра, буркнув под нос:

– Бог простит!

– Испугался я, пойми! Давно уж испугался! – нет, не кричал, а бормотал ему вслед, испуганно озираясь, отец Пётр...

Приехав в этот город на архиерейскую кафедру много лет спустя, владыка Серафим поинтересовался судьбой отца Петра Караулова, но никто ничего толком о нём не знал. Пропал человек.

3

Владыку Серафима немного утомили воспоминания, он задремал в своем удобном глубоком кресле. В старческом чутком сне привиделись мать и отец...

Отец был из обедневших дворян, карьеру делал споро, приспосабливаясь ко всему сам и особо ни на кого не надеясь. И пока не грянуло в семнадцатом году, он успел дослужиться до чина статского советника.

Мама родилась в семье известного петербургского фабриканта, и злые языки поговаривали, что денежки тестя помогали хоть и родовитому, но голоштанному зятьку прыгать по служебной лесенке. Пусть и идеек либеральных он не чуждался, и по воскресным дням его в церковь калачом не заманить.

Жена же по всему была у него истинно верующая. Красавица с печальными чёрными глазами, она старалась не пропустить ни воскресной или праздничной обедни, стояла возле алтаря, клала поклоны, неспешно крестясь и шепча молитвы. Её неизменно обступала тройка притихших сыновей. Впрочем, старшие мальчики вскоре перестали приходить на службы, оставался только младшенький Сима. Батюшка ввёл его в алтарь, и Сима быстро наловчился помогать пономарю раздувать кадило, выносить на полиелеях свечи.

На него, одного из прислуживающих в алтаре полдесятка мальчишек – поповичей и дьячат, во время своей последней службы возложил стихарь митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин.

– Не зря он выбрал тебя, не зря... – гладя по голове сына, шептала мать, укутанная в чёрный траурный платок.

У Симы ещё радость и ребячья гордость толком не улеглись, когда в семье узнали, что после скоропалительного процесса большевики уму-

чили святителя. Сима, облачаясь перед службой в блестящий, расшитый крестиками стихарь, еще не осознавал происшедшего своим детским умишком – шёл-то пареньку шестой годик.

В городе закрывали храмы, взрывали их или превращали в склады, бани, клубы, но мать по-прежнему, проезжая в трамвае, крестилась на осквернённые руины, и насмешки окружающих не пугали её.

Зато отец... Он пытался бежать и дальше в ногу со временем, даже облик принял «а-ля Ленин». В кепке, при галстуке в крупный горошек, бородка – клином, витийствовал он, бывало, на митингах и собраниях, благо из писарей пролетарии продвинули его в бухгалтеры. Но «попутчиком» своим, несмотря на все его потуги, не посчитали – отец загремел в тюрьму как заговорщик, и отпустили его оттуда больным и сломленным домой умирать.

Незадолго до кончины он попросил привести священника. Пожилой батюшка, принимая исповедь, нескоро вышел из его комнаты.

– Да после такой силы покаяния он больший христианин, чем мы с вами! – вздохнул, прощаясь, бывалый протоиерей.

У Серафима жизнь сложилась так, что сан священника он решил принять, когда ему было уже много за сорок. Не испугала и чёрная для церкви хрущёвская пора. Инженер, кандидат технических наук, всё вроде б в жизни есть. Не все поняли и приняли этот его шаг, многие оттолкнулись. А он знал: пришло время исполниться благословению святителя-мученика...

В ответе ли сын за поступки отца? Опять на мгновение мелькнули перед глазами Карауловы: несчастный отец Пётр, Руф. Надо рукополагать в сан диакона сына, не поминая старые обиды. Бог судья непутёвому отцу. «Жатвы много, делателей мало...»

4

Если бы не епархиальный водитель, знавший город как свои пять, вряд ли бы владыка Серафим разыскал квартиру бывшего уполномоченного по делам религии старого знакомца Акима Воронова. По слухам, былой гроза епархии обретался в угрюмом одиночестве, заброшенный родственниками, парализованный, своей истовой борьбой с «мракобесием» не выслуживший даже «персоналки».

Что подвинуло владыку встретиться с давним врагом, он, с трудом поднимаясь по истёртым избитым ступеням лестницы на пятый этаж, так просто бы и сразу не ответил.

В указанную квартиру служка-иподиакон долго без толку звонил, пока не приоткрылась соседняя дверь и не высунулась старушонка. Подслеповато вглядываясь, владыку она узнала и склонилась под благословение.

– Вы к этому ироду? – спросила. – Плох, кончается... От родни всё пенсию под подушку прятал. Как задремлет, те деньги стащат. И в квартиру худую к нам из хором его выпихали...

Старушка шелестела и шелестела языком, едва можно было разобрать слова. Щёлкнула в замке ключом, отворила дверь.

– Я-то тут обихаживаю его, обдрищется когда. Живой человек всё-таки...

Из нутра квартиры шибануло затхлым запахом старости, властвовало там запустение: толстый слой пыли лежал на всём, косо висела линялая штора на окне, лишь вокруг кровати, громоздящейся посреди комнаты, натоптана светлая дорожка следов.

В обтянутом жёлтой кожей живом скелете на грязной постели трудно было узнать прежнего румяного крепыша Акима Воронова. Он тоже узнал ли владыку Серафима? Большие чёрные угли глаз на усохшем до костей лице оставались неподвижны, безучастны. И всё-таки что-то едва уловимое мелькнуло в них, а лицо перекосило судорогой то ли боли, то ли отчаяния.

– Не крещеный, видать, был, что такие лютости церкви вытворял. Язык-то бы не отнялся, так бы покаялся, может, отпущения грехов попросил. Страшно, поди, пред Господом-то предстать... – не умолкала старушка богоделка. – Надо бы его вам окрестить. Или крещён он родителями-то в детстве, да только прочно запамятовал о том?..

– Да, не ведали, что творили! – владыка размашисто перекрестил лежащего. – Прости им, Господи!..

На улице, на чистом воздухе, стало легко, свежо. Владыка вздохнул: завтра последняя его на епархиальной кафедре Божественная литургия, последний совершаемый им чин хирото-

нии. И последним посвященным им в сан священнослужителя будет Руф Караулов, сын того самого иерея Петра, «благодаря» которому немало горького когда-то пришлось хлебнуть...

Но ведь покаялся отец Пётр, дождавшись тогда Серафима в глухой темной аллее за храмом. И куда пропал потом, никто до сих пор не ведает. То ли сгинул где на чужой стороне, то ли в иноки подался грехи замаливать.

Пусть теперь сын его Богу и людям послужит...

КАРА

Староверов Сан Саныч, отставной преподаватель областного педучилища и закоренелый холостяк, сохранил себя. За семьдесят, но не огруз фигурой, не скрючился спиной, был по-прежнему лёгок на ногу, морщинки лишь мелкой сеточкой собирались возле его глаз. Всегда подтянутый, в строгом костюме, застёгнутом на все пуговицы, при чёрной узкой селёдке галстука и в белой шляпе, он в очередной свой приезд неторопливо вышагивал по улочке родного городка. Встретив старого знакомого, Староверов окидывал его бесстрастным взглядом холодных голубых глаз и вежливо раскланивался, приподнимая шляпу. Знакомцы, особенно из тех, которым доводилось в детстве играть с ним в лапту или в прятки, заискивающе улыбаясь, трясли ему руку, но прямую его спину провожали, глядя сурово, исподлобья:

– Ишь, от легкой-то жизни какой, не угорбатился! Всё для себя да для себя! Не мы – дураки...

Родительский дом стоял пуст. Сминая засохшее будилье заполонившего двор репея, Сан Саныч пробился к крыльцу и, переступив порог, не скоро решился пройти в горницу, недоверчиво, с опаскою, втягивая ноздрями затхлый холодный воздух. Потом ещё долго бродил по дому, заглядывая во все уголки и чутко прислушиваясь к каждому шороху и скрипу.

Нежданному гостю – соседу Вальке – он обрадовался. Только не один был поддатенький молодой сосед, а с попутчицей. Сан Саныч поначалу подумал, что она старушка. Уж больно согбенная жалкая фигурка, замотанная в платок, жалась у дверей. Но на свету пришлая оказалась женщиной лет тридцати. Стянув платок, она высвободила свалявшиеся космы грязных волос неопределенного цвета; на лице ее с дряблой сероватой кожей угрюмо синели подглазья. Женщина села на подсунутый Валькой стул, осоловело уставилась куда-то в угол.

– Сан Саныч! Не будет у тебя по маленькой? – замасливая глазки, заканючил Валька.

Компании наведывались к Староверову сугубо мужские, и затесавшаяся на пару с Валькой бабёнка поставила Сан Саныча в тупик. Чем её угостить? Хорошо, что привёз с собою бутылку сухого марочного вина.

Дама, закинув ногу на ногу, пыхала папиросой. Выглотав стакан сухого как воду, она поморщилась:

– Покрепче бы чего этого «свекольника»...

В неловкой тишине Валька попытался рассмотреть что-то в темноте за окном, дама с тупым выражением на лице продолжала пускать клубы дыма, удушая Сан Саныча.

Он, пригубив из своей рюмочки, чтобы развязать разговор, ляпнул первое пришедшее на ум:

– Вас, вероятно, с Валентином связывает дружба...

Язык у Сан Саныча одеревенел, осталось беспомощно и извиняюще развести руками, изобразив на лице глуповатую улыбку.

Валькина спутница громко и вульгарно расхохоталась.

– Это с ним-то?! Хотели счас в сараюхе прилечь, да холодно, говорит.

Валька покраснел и торопливо засобирался, будто вспомнив о неотложном деле. Сан Саныч, испуганный, побежал вслед за ним на улицу.

– Сан Саныч! Пусть она у вас посидит... пока. Ей некуда идти. А я подойду попозже. – Валька скрылся в темноте.

Обескураженный Староверов растерянно побродил возле дома, вернувшись в горницу, остолбенел. Незваная гостья преспокойно, свернувшись калачиком, спала на его кровати. Юбка на бабёнке, заляпанная засохшими ошмётками грязи, задралась, открыв рваные чулки.

Сан Саныч, смущённо отводя глаза, хотел выключить свет, но передумал. Он ушёл на кухню, со слабой надеждой стал дожидаться Вальку и заснул за столом...

Очнулся он от чьего-то лёгкого похлопывания по плечу и спросонок воззрился удивлён-

но на даму. Та, сутулая, невысокая ростиком, стояла рядом, одной рукою ерошила спутанную кочку волос на голове, а дрожащими пальцами другой норовила сунуть окурок в чёрные растресканные губы.

– Послушай, мужик! – прохрипела она судорожным, будто перехваченным удавкой горлом. – Опохмелиться не найдёшь?

И сорвалась, зашлась в жутком чахоточном кашле: казалось, все её нутро вывернется наружу.

Сан Саныч разыскал в шкафу прошлогодний «остатчик» водки, поспешно наполнил стакан. Дама, высосав подношение, морщилась, ужималась, но постепенно на пепельно-серых щеках её появился робкий румянец, а глаза, понуро-тоскливые, оживясь, заблестели.

– Да ты фартовый мужик! С меня причитается!

И, едва Сан Саныч отвернулся, она уже стояла совершенно нагая. Сан Саныч, скользнув взглядом по тряпично отвисшим кулёчкам её дряблых грудей, долго не мог отвести глаз от красноватого шрама на животе, перечёркивающего почти пополам её худое тело с выпирающими костями, обтянутое иссиня-бледной кожей.

Дама, перехватив взгляд, провела обкуренным пальчиком по гладкой поверхности шрама, криво усмехнулась:

– Это-то муженёк дорогой меня пёрышком пополосовал! Чтоб ни дна ему, ни покрышки! Четыре дыры, еле заштопали! Теперь вот Манькой Резаной и зовут... Ну, чего?! Сам разденешься или помочь?

Она, потянувшись, шагнула к Сан Санычу, но он с утробным испуганным мычанием одним невероятным скачком вылетел из кухни. В спину ему, словно калёный гвоздь, вонзился истерически дикий смех.

Староверов прямо с крыльца, будто в омут, нырнул в холодный предутренний воздух: «О, Господи! Что творится-то, а?!» – и, не разбирая дороги, по темной пустой улочке помчался прочь от дома куда глаза глядят.

О, женщины!

Когда-то давно, в молодые годы, был он со своими студентками на уборочной в совхозе. С самой глазастой и красивой пришлось укрываться от дождя в шалаше. Она, подрагивая, робко прижалась к Староверову и прошептала: «Возьмите меня замуж!» Ожжённый несмелым поцелуем, Сан Саныч отпихнул девчонку, заговорил резко, нравоучительно. Пуще всего он боялся, как бы не выгнали его из училища за связь с подопечной. А может, и зря. Что скрывать? Потом всю жизнь сожалел...

И вот так всё время – чуть что! – трясся, будто заяц под кустом. Молчал, как партизан на допросе, на педсоветах в училище, где вёл труд, – не велик кулик, ни разу в застолье не выпивал больше рюмочки вина, дабы не сболтнуть лишнего, а последние годы перед пенсией был готов сплясать «казачка» под окнами директорского кабинета, если б приказали...

Чаял – уж теперь, на пенсии, поотпустит эта страшная напасть, загнавшая его в тесный, тщательно сберегаемый от потрясений мирок, – ан нет... И когда же она заползла в душу, укоренилась намертво?

Может, в тот страшный 37-й год, когда как «врага народа» арестовали отца? Отец, колхозный плотник, привернул в горсовет за какой-то справкой, а поскольку шёл с работы, за пояс у него был заткнут топор. Председатель – жук ещё тот! – бочком, бочком из кабинета и – в крик! Убивают! Набежал народ, скрутили растерянного мужика. Потом вроде и никто не верил, что замыслил Староверов-старший смертоубийство представителя власти, но поди докажи, кто рискнет! Закатали ему десять лет без права переписки...

Санко окончил школу и куда бы ни сунулся – везде получал от ворот поворот. И вдруг к отчаявшемуся парню прямо на дом прибежал нарочный от председателя...

Председатель разложил на столе перед робко присевшим на краешек стула Санком чистый лист бумаги, сам обмакнул перо в чернила и протянул ручку.

– Пиши!

– А чего писать? – пролепетал, принимая ее дрожащими пальцами, Санко.

– Не трусись ты, не забижу! – хохотнул, раздвигая губы в довольной усмешке, председатель и, поскрипывая хромовыми сапожками, запохаживал вокруг стола. – А пиши... Я, мол, такой-сякой, решительно и бесповоротно порываю со своим отцом. Так как он есть классовый враг и чуждый советской власти элемент. Поступаю сознательно и отныне обязуюсь не иметь с

вышеозначенным лицом ничего общего. Подпишись! Вот и ладненько...

Хороших друзей у Староверова никогда не было ни в педучилище, куда вскоре его приняли, ни после, когда стал учительствовать сам. Он опасался откровенничать, а без этого настоящей дружбе не бывать.

В свободное от уроков время он ударялся по лесам с ружьишком или просто с корзиной по грибы.

На лесных ночёвках Староверов простудился, слёг с воспалением лёгких, а потом ещё хуже – заболел туберкулёзом. Как раз в канун войны. Под вой баб, провожавших на фронт мобилизованных мужиков и парней, нет-нет да и ловил на себе злые и завистливые взгляды: дескать, вон какой бугай за бабьими юбками в тылу отсиживается! Пособил же леший ему чахотку заполучить! Глядишь, так и жизнь свою спасет.

Он корил себя после войны, особенно в тяжкие горькие часы своей жизни, что не ушёл тогда добровольцем, хотя и сам в лихолетье едва не умер от болезни и голодухи. Тоска от одиночества с годами все чаще сдавливала его сердце. Припоминались сгинувшие на фронте ровесники. «Я тоже должен был быть там, среди них...» – в отчаянии шептал Сан Саныч, проклиная своенравно распорядившуюся судьбу. И предательство родного отца не давало покоя. Хотелось как-то искупить всё, ощутить в душе хоть капельку выстраданного и облегчающего прощения...

Староверов брёл и брёл наугад в скорых непроглядных сумерках. Ломая в лужах тонкий ледок, промочив ботинки, он не заметил, как миновал окраину городка и очутился на полевой дороге, ведущей к лесу. Где-то далеко впереди смутно угадывались очертания Лисьих горок.

На обрывистом краю крайнего холма вдруг вспыхнули яркие огни фонарей, высветивших ослепительно белые стены храма с чёрными провалами окон. «Вот бы мама порадовалась!» – пожалел Староверов. Он хорошо помнил, как тихо и безутешно плакала мать, когда с церквей в городке сбрасывали колокола. На центральной площади взрывом развалили летний собор; зимний, посрывав кресты, обустроили в вертеп, нацепив вывеску «Клуб», красующуюся и поныне. Церковь же на Лисьих горках белела нетронутой невестой в свадебной фате. До неё тоже было дотянулись поганые загребущие руки. Однако дальше сброшенных колоколов и разворованной утвари, дорогих окладов с икон лихоимство не двинулось. В подвалы опутанного по ограде колючей проволокой храма в начале войны завезли какие-то ценные архивы, так и пролежавшие до пятидесятых годов под неусыпным караулом стрелков с винтовками. Потом церковь вернули верующим, но мать Староверова не дожила до светлого дня...

Сан Санычу припомнились последние деньки жизни матери. Она уже не вставала, жалостливыми ввалившимися глазами смотрела на сына: «Как ты, Санко, без меня-то жить будешь? Один, ровно перст... Коли тяжко когда – молись! Господь не оставит».

Староверову всю жизнь приходилось притворяться отъявленным атеистом – учительствуя, в сторону храма, пусть и порушенного, Сан Саныч не смел взглянуть даже и будучи один. Лекции насчет «опиума для народа», когда приказывали, исправно читал учащимся. Дома мать истово молилась за безбожника-сына, искренне веря, что мерзость на Бога он возводит по принуждению, а не по сердцу. А сын боялся, он хотел быть как все, хотел выжить...

Сан Саныч тяжко вздохнул и неумело, неловко перекрестился: «Надо в храм сходить...» Он прикрыл глаза и ощутил вдруг себя пареньком среди готовящихся к исповеди. Рядом стояла мама, сжимая ему запястье тёплой ласковой рукой. Отец был необычно серьёзен, строго и заботливо оглядывал сына. Батюшка, улыбаясь в бороду, поманил мальчонку к аналою с возложенными на нем Евангелием и большим блестящим крестом. Мать легонько подтолкнула смутившегося сынка. А на клиросе пели печально и красиво...

Староверов, сглотнув горький ком, застрявший в горле, хотел прошептать молитву, но память подвела – как нарочно, ни словечка на ум не пришло. И всё-таки он почувствовал, глядя на белеющий впереди храм, тепло в себе – робкое и трепетное на студёном ветру, но живое.

Возвращаясь, к дому он подходил настороженный, но зря – выстывшая горница была пуста, Манька исчезла. Да и он сам мало-помалу оправился от недавнего смятения и по привыч-

ке бормотал вслух, будто невидимому собеседнику: «Вероятно, она женщина лёгкого поведения. За хлеб и ночлег благодарить таким дурным образом! А вдруг по-иному она просто не умеет, не может? И ей всё одно – кто перед нею?! Бедная женщина!.. Может, чем-нибудь ей помочь?»

Но тут же мелькнула трусливо мыслишка: «А если она больше не придёт?»

Манька никуда не делась, подняла хозяина глухой ночью, заломилась в калитку, да ещё и в сопровождении двух зверски пьяных мужиков.

Староверов не решился высунуть нос, вслушиваясь в грозные выкрики, но, когда в окно брякнули камешком, пришлось показаться.

– Дядя, водки дай! – загалдели наперебой мужики.

– Сан Саныч! Водки, водки! – прыгала впереди мужиков растрёпанная Манька, рассыпая с зажатой в пальцах сигареты светлячки искр.

– У меня в доме спиртных напитков не имеется! – осветив компанию фонариком и лязгая зубами от холода и неприятного ощущения внизу живота, как можно твёрже выговорил Сан Саныч.

На удивление, подействовало сразу, канючить перестали.

– Обманула, падла! – мужик постарше влепил в сердцах Маньке оплеуху и, пошатываясь, побрёл прочь.

– Маня, Манечка! Дорогуша, тебе больно? – другой мужичок, облапив Маньку, поволок её к кусту под забором.

Манька визжала, вырывалась, материлась и, поваленная наземь, завопила истошно:

– Помогите!

Сан Саныч, словно зверь в клетке, заметался взад-вперед по сеннику. «Не выйду! Ей, бабе, что? Где легла, говорят, там и родина! Но, Господи, что она так кричит-то?!»

Староверов распахнул дверь и выскочил на крыльцо. Бежать ли к копошившимся под кустом телам или же во всё горло звать на помощь, он сообразить не успел.

Насильник взорал благим матом и скорченной тенью тотчас убрался восвояси.

– Маня, ты жива? – держась за засов калитки, осторожно осведомился Сан Саныч.

– Жива, жива! – Манька загнула таким матюком, что у Староверова уши огнём обожгло, и, отряхиваясь, подошла к калитке. – Открывай! Соврал, поди, что нет у тебя выпивона?

Сан Саныч открывать не торопился.

– Кто эти мужчины, что были с тобой?

– А хрен их знает! Пристали: найди выпить! Отворяй, чего чешешься, замерзла я вся! Из комнатухи меня намедни выселили, ночевать негде!

– Прощай! У меня здесь не богадельня и не постоялый двор! Я прошу тебя, Маня, больше не приходи!

Он содрогнулся от потока мерзкой брани, ударившего в спину. Манька бесновалась не на шутку, швыряла комками земли по крыльцу, по окнам, билась плечом о калитку, пинала ее, не щадя ног. Выдохнувшись, принялась стучать мерно и настойчиво.

– Вот что, Маня! – не удержался, выглянул Сан Саныч. – Прекращай! Я тебе русским языком сказал.

– Сан Саныч, сигареточки у тебя не будет? – теперь просительно-жалобно заныла она.

Сигаретки Маньке хватило ненадолго. Она попросила еще чаю, и Староверов, опорожнив в банку заварочный чайник, вынес её и опять-таки через забор вручил Маньке.

– Пей, угощайся, Мария, и с последним глотком – всё!

Сан Саныч слушал смакующие причмокивания Маньки и понимал, что он уже просто издевается над человеком. Стало гадко, противно, и со стороны он себя как бы увидел: скрюченным у забора, прижавшим ухо к щели, для пущего слуха раскрывшим рот.

Манька учуяла слабину и, саданув банку о камень, взвыла:

– Сволочи все кругом! Подыхай посреди улицы – и никому дела нет!.. Прижилась было у одного раздолбая, а он свихнулся с перепою, морду мне набил и средь ночи из фатеры выставил. Забралась ночевать в какой-то курятник пустой, так хозяин утром чуть на вилы не насадил. А вчерась с мужиками день пили на чьей-то хате, а потом старбень хозяйка пришла и всех – долой! Допивали в сквере, мужики меня бросили, на лавке напротив памятника Ленину дрыхнуть оставили. Тут ночь и стала коротать, хмель-то быстро вышел. Ну, думаю, от холода сдохну. С

лавки подняться не могу, примерзла. Молиться уж начала – пусть менты придут и заберут меня в свою кутузку! Всё ж ночь в худом да тепле! Не пришли!.. Сан Саныч, ежели есть Бог, пусти погреться, не дай замерзнуть!

Манька повалилась на колени и, всхлипывая, прижалась лицом к покрывшейся колкими иголочками инея и оттого звенящей жестью траве под забором.

Сан Саныч открыл калитку, помог подняться Маньке, морщась от перегара.

– Только на одну минуту! – назидательным деревянным голосом произнёс он, хотя знал, что Маньку уже никуда не выгонит.

Пусть осуждают его доброхоты, злословят, двусмысленно похихикивая, или с недоумением пожимают плечами, крутят пальцем у виска. А Манька отопьётся крепким пуншем, уснёт мертвецки. Днём она уйдет куда-нибудь – и жди опять, в каком состоянии и с кем припрётся, если добредёт вообще...

«О, Господи, за что такая мука-то?!»

Манька прямо с порога, как кошка с мороза, проворно юркнула на горячую печную лежанку, затаилась и вскоре захрапела.

Староверов остался наедине со своими мыслями.

«Это всё мне кара, от Бога кара! – твердил он, вздыхая. – За то, что от родного отца отрёкся, на войну струсил идти. Вот всю жизнь протрясся, как овечий хвост, пёкся лишь о куске хлеба да бился за копейку».

Сан Саныч прислушался к Манькиному храпу с печки.

«Несчастные люди! И я чем лучше их? Но, может... согревая их, делясь с ними пищей и кровом, я искуплю прошлые грехи перед Богом, совестью?»

Староверов прошёл из кухни в горницу, нашел глазами бумажную иконку Спасителя, оставленную сестрой и сиротливо притулившуюся в углу, в полумраке попытался вглядеться в лик.

«И нынешняя моя жизнь не продолжение Божией кары, а искупительный крест. Надо нести его и не роптать... Почему прошлое мне кажется таким безрадостным, ненастным, серым, бесконечно долгим осенним днем? Потому что жил без веры!..»

Охваченный радостным трепетом, Сан Саныч сотворил крестное знамение...

□

Николай Александрович ТОЛСТИКОВ

родился в 1958 году в г. Кадникове Вологодской области.

Окончил Литературный институт им. А.М.Горького

и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Священник храма святителя Николая во Владычной слободе Вологды.

Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях,

сборниках. Автор книг «Пожинатели плодов»,

«Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести».

Награжден медалью Василия Шукшина,

учрежденной Союзом писателей России и др.

Член Союза писателей России.